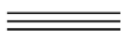


СУДНЫЕ ДНИ

СУДНЫЕ ДНИ



Книга первая

ПОБЕДИТЕЛЬ

Книга вторая

ПРЕДАТЕЛЬ

Книга третья

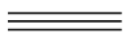
ДОЛЖНИК

Книга четвертая

КРЕДИТОР & МЕСМЕРИСТ

Андрей
ВОЛОС

ПРЕДАТЕЛЬ



МОСКВА
2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В68

Оформление серии *Сергея Курбатова*

В оформлении переплета использованы фрагменты фресок
из капеллы Бранкаччи (Флоренция)

Волос, Андрей.

В68 Предатель : [роман] / Андрей Волос. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 384 с. — (Судные дни).

ISBN 978-5-699-91748-8

1980 год. Герман Бронников, изгнанный из Союза писателей за публикацию на Западе, почти обрел мир в семье и в душе: работает консьержем и пишет то, что велит ему совесть. Но КГБ никогда не оставляет в покое людей, попавших в разработку. И прямо перед Олимпиадой Бронников оказывается на принудительном лечении в психбольнице. Это начало романа «Предатель» — второй книги эпической тетралогии Андрея Волоса «Судные дни».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-91748-8 © Волос А., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

*Но почему-то не всех это
поражало и не всем было
интересно про это читать.*

Юрий Трифонов,
«Время и место»

Лифтер

Бронников сидел на своем рабочем месте под лестницей. Судя по надрывности телефонных звонков, домогалась его гражданка Крылатова из сорок второй. В среде дежурных к ней приклеилось нелепое прозвание «мадам». Старуха вечно требовала ответов на вопросы, которые никоим образом не могли входить в компетенцию лифтера.

— Алло, консьерж? — не раз слышал Бронников ее пронзительный голос. — Скажите, консьерж, но почему же лифт опять так гроыхает? Это невыносимо, консьерж!..

Дождался шестого звонка. Не умолкает. Седьмой.

— Алло!

Крылатова всегда начинала говорить сразу, как снимали трубку, если не раньше; а сейчас он успел ощутить гулкую тишину пространства.

— Герман Алексеевич? — спросил невидимый собеседник.

Голос был приятный — глубокий, звучный. Услышать раньше, так решил бы, что это из какой-нибудь комиссии Союза... или из Литфонда, что ли... по некоему важному, но необременительному делу... какие случались прежде.

— Да, да, — бормотнул он, встряхиваясь. — Я слушаю. Знакомый голос...

— Герман Алексеевич, — повторил собеседник с легкой усмешкой. — Это...

И не успел еще произнести свистящее начало своего поименования, как Бронников похолодел: Семен Семеныч!

— Это Семен Семеныч беспокоит... Вспомнили?

Бронников напряженно хмыкнул:

— Ну а как же. Такое не забывается...

— Я, собственно, по пустяку. Тут вот какое дело. Можете подъехать?

— Куда подъехать?

— К нам.

Прежде, когда впервые выпало им побеседовать, он бы, пожалуй, не задал этого тупого вопроса. Тогда Семен Семеныч, помнится, ткнул в нос грозную свою кагэбешную ксиву — и Бронников поплелся, как баран на закляние. Без всяких вопросов. *Они* хотят встретиться! Какие могут быть вопросы? — *они* хотят, значит, надо.

— А зачем?

Семен Семеныч делано замялся.

— Поговорить бы надо, — пояснил он. И добавил урезонивающе: — Не по телефону же.

— Да? — нагло удивился Бронников. — А почему не по телефону?

— Ладно вам. Вы же понимаете.

— Допустим, понимаю. Но почему я?

— То есть?

— То и есть! — пуще нагелл Бронников. — Сами только что сказали: надо поговорить. Кому надо? Мне не надо. А если вам надо, вы и подъезжайте. Милости прошу!

— М-м-м...

— До свидания!

ПРЕДАТЕЛЬ

И злорадно бросил трубку — недосуг ему ждать, пока топтун с мыслями соберется.

О чем, собственно говоря, пожалел сразу, как она упала на рычаги. Даже, пожалуй, еще долететь не успела — а он уже пожалел.

Ах, зря, зря. Ущучил. Да если Семен Семенычу вздумается, он так ущучит!.. Не плюнет, не забудет, из списка не вычеркнет, перезвонит непременно... Однако час прошел, другой — тишина.

Черт бы его побрал!..

* * *

Игорь Иванович заходил к нему под лестницу, как правило, под вечер.

Выглядел он моложе своих семидесяти, а кроме того, и одевался совершенно не по-стариковски. Распахнет ворот светлого плаща, стянет и бросит на кушетку шелковый шарф... Бронников, вечно ощущавший кургузость своих одеяний, немного даже завидовал. Другого хоть в царскую мантию наряди — все как корове седло. А этот дорогими вещами похвастать не может, а вот надо же: все на нем как влитое, все идет, все, как говорила баба Сима, *личит*. Фигура, что ли, такая? — высокий, худощавый, прямой, рука крепкая, как у лесоруба или каменщика; о возрасте если что и говорит, так только седина. Ну и морщины, конечно...

Потрогает рукой сиденье гостевого стула, сядет с осторожностью.

«Что, Гера, хмуритесь? Не тянется рука к перу, перо к бумаге?»

Бронников ему о звонке рассказывать не станет — стоит ли о собственной глупости толковать. Единственное оправдание — уж больно неожиданно все случи-

лось. Тишина, тишина, тишина, а потом трах над самым ухом — звонок!.. (Все равно глупость: как будто такое может произойти ожидаемо — на то они и спецы, чтоб как гром с ясного неба.)

С другой стороны, кому еще расскажешь? Шегаев по крайней мере в курсе их отношений.

«Позвольте, — скажет, — это же который...» — «Ну да. С седой прядью».

Покачает головой.

«То есть погарцевали?»

Вот именно. Погарцевал, идиот.

«Ну и ладно. Плюньте. Надо будет — еще позвонит. А не позвонит — совсем хорошо».

И такая интонация самоосознанного, знающего себе цену наплеватьства прозвучит в его словах, что Бронников и впрямь мгновенно успокоится.

С Игорем Ивановичем познакомились они года два назад. У Шегаева был спаниель. Однажды Тришка, зайдя на противоположной стороне улицы шапочного знакомого Портоса, выдернул голову из просторно застегнутого ошейника и, не будь дурак — прямым под колеса. Чудом увернулся. Псы успели встать на дыбки и облапить друг друга, топчась на свежем снегу, когда Бронников изловчился схватить беглеца за уши.

— Дезертир! — сказал хозяин, прошагав проезжую часть по стопам питомца.

И в сердцах легонько стегнул Тришку концом поводка по упитанному заду.

Извиваясь и визжа, как если бы его приложили каленым железом, животное с воплем повалилось на спину, виртуозно перекатилось и село, по-бабьи широко расставив передние лапы и издав беспросветно-горестный вой.

ПРЕДАТЕЛЬ

Простодушный Портос, решивший, должно быть, что очередь за ним, перевел оторопелый взгляд на Бронникова и в ужасе облизнулся.

— Во как, — пробормотал Бронников. — Понял?

Владелец же, ничуть не тронутый Тришкиным кривлянием, протянул руку и сказал:

— Шегаев.

Вскоре сам собой выработался порядок: около девяти Бронников встречал Игоря Ивановича на углу.

Прохаживались, смотря по состоянию погоды, от часа до полутора. Как и подобало случайным знакомым, беседовали о пустяках, машинально избегая неуместных тем. Игорь Иванович отпускал подчас замечания, выдававшие человека не только остроумного, но и образованного. Был не чужд литературы. Однажды восхитил Бронникова следующей сентенцией: простой человек скажет, что, дескать, жили как кошка с собакой, а причастный искусству — как Ахматова с Гумилевым.

Бронников о себе и вовсе помалкивал, обмолвился только, что писатель (а чего именно писатель, распространяться не стал — металлурги ему к той поре обрыдли до невозможности, все же прочее хранилось в тайне, столь глупо впоследствии пущенной по ветру), на что Игорь Иванович ответил вежливым «О!».

Бронников и сам не понимал проявлений столь свойственного советским людям глубокого уважения к писательскому ремеслу. Глупость какая-то: человека не знают, опусов не читали, а вот скажи, что писатель, сразу уважают. За что?.. Поставь десять незнакомцев — пекаря, плотника, полярника, дипломата, чекиста, учителя, врача, геолога, певца, писателя — и спроси потом, кто есть кто. «Как же! — скажут. — Вот этот пучеглазый — писатель, мы его сразу запомнили; а остальных

не знаем». Пошло с того, что большевички назначили пяток сочинителей в гении; были они, конечно, такие же, как все, живые и такие же несчастные, мятущиеся люди; но их ловко обезьязычили разрешенностью, обездвигили жирным слоем бронзы. Тут и там натканных на площадях фигур хватает, чтобы всякий мог получить неоспоримые аргументы в пользу такого пролетарского дела, как изящная словесность. Титаны-немтыри угрюмо озирают пространства, писучая мелочь поднадзорно суетится со своей белибердой... Мелочь — но уважаемая. Советская власть народными деньгами не бросается; если платит, значит, строчат хорошо, с пользой, не зря самая читающая страна в мире. Жители страны тому, что они самые читающие, верили на слово, сами в книжки попусту не лезли: времени нет, разве что после смены в очереди, а глаза слипаются; да и пишут не пойми о чем, чего в жизни не бывает; но ведь на то оно и умственное дело, что не каждый с разлету разберет.

Потом Бронников разошелся с Кирой, съехал, поселился на Арбате, долго Игоря Ивановича не видел, а когда вернулся в семью, его поперли из Союза.

Позвонила секретарша секретаря Кувшинникова, равнодушно-строгим голосом потребовала не тянуть время. Он не понял, в чем дело. «Я вас очень прошу», — сказала она, нажав на «очень». В голосе звучали нотки усталого превосходства. «Ах, билет!» — повторил Бронников. «Не тяните», — бросила она.

На другой день положил на стол билет члена ССП — краснокожий, с золотым гербом; взамен потребовал расписку. Расписка, оказывается, уже была заготовлена. «Вот как...» — пробормотал он, складывая лист. Секретарша не ответила.

Событие оглушило.

ПРЕДАТЕЛЬ

Во-первых, никак не думал, что до такого дойдет; во-вторых, не понимал, что теперь делать; в-третьих, ждал каких-то трагических продолжений. Вот, например, кооперативную квартиру он как член Союза покупал — так не отнимут ли теперь? Насчет комнаты и вопроса не стояло: твердо был уверен, что отберут в самом ближайшем времени.

Созвонился с Прокопычевым, намекнул, не вдаваясь в детали, что хотел бы вернуться. «Не кормит матушка-литература?» — отрывисто посмеиваясь, шутил Прокопычев. — Чо ж, давай! Кульман твой на месте стоит. Лавровыми ветвями только увили, а так — в полной неприкосновенности. Стряхнешь гербарий — и за дело!..»

Но через день после того, как он заполнил листок по учету кадров, Прокопычев позвонил сам и сообщил, что ничего не выйдет. «Не выйдет?» — переспросил Бронников без особого удивления. «Не выйдет, — хмуро подтвердил Василий Силантыч. — При встрече расскажу. Запиши вот телефон. Маркелов фамилия. Скажешь, от меня».

Однако и у Маркелова, заведовавшего опытным цехом на Люблинском заводе ОГМ, получилось примерно то же самое.

Таких попыток было шесть или семь, и с каждой следующей очевидность становилась все более очевидной. Не понимал только, как они узнают, куда именно он пытается устроиться. Неужели всякий раз тупо выслеживают? Это сколько ж надо топтунов, чтобы такие дела проворачивать?.. Позже Шигаев заметил: «А что же вы хотите, Гера? Во-первых, на хорошее дело сил не жалко. Во-вторых, им и стараться не нужно — отделы кадров сами за санкцией обращаются».

Неприятная нервотрепка бесплодных дерганий была тем более нелепой, что ни за какой кульман становиться ему

не хотелось. Удивлялся, отчего они такие глупые: хотят, вероятно, убить в нем писателя, а не понимают, что лучший способ это сделать — разрешить устроиться в конструкторское бюро: писателю от этого — чистая смерть.

Экзистенциалист Камю писал, что время нужно чувствовать во всей его протяженности. И для этого сидеть в тоске у кабинета дантиста и стоять в длинных очередях, приблизившись же к заветному окошку, уходить; в электричках ездить далеко и стоя. Тогда, дескать, время становится длинным, ощутимым... С одной стороны, так и есть: если ты не ощутил протяженность отпущенного тебе времени, то как будто и не жил: раскрыл глаза, что-то мелькнуло — вот уж тебя и нет. Но если посмотреть с другой, то на кой черт оно нужно, это время, если ты промаял его в очередях да в электричках? Времени много не там, где оно медленно течет, а где есть над чем подумать. В карцере человек думает лишь о том, скоро ли выпустят, а потому его невыносимо медленно текущее время исчезает попусту.

Нет, ему не чтобы не в очередях стоять или глазеть в окно поезда; ему для работы. Работа отнимает чертовски много времени. Задумался — а уже полдень. Пару фраз поправил — вечер. Флобер говорил правду, отвечая на вопрос о своих делах: вчера поставил запятую, сегодня убрал. Притом у Флобера рукописей не воровали, не вынуждали прятаться. А ему еще и о конспирации думать надо.

В молодости вообще можно было на коленке. Тогда даже сама занятость, невозможность выкроить более или менее серьезные часы не мешала, а подстегивала, заставляла работать быстрее. И уж если навалил бог весть чего, то читаешь потом — будто живую воду пьешь. Что ни фраза — со значением, что ни слово — то новье.

А теперь слова, ложась на бумагу, молкнут и ссыхаются. Старые, тертые. Тусклые, как пятаки. Побрякали —

ПРЕДАТЕЛЬ

и умерли. Речь остается невысказанной, мысль — неоформленной. Не удастся выразить главное, живое. Сущность жизни ускользает. Как быть? Ну а как? — катить камень дальше: тут поправить, там подчистить... тут подстрогать, здесь подпилить. Потом все чохом перечеркнуть и начать заново. Вот день и прошел, как не было.

Нет, нужно, чтобы было утро — хмурое, раннее. В большем родстве с ночью, нежели с днем. Чтобы день тянулся долго, а вечер — томительно. Точно знать, что ни сегодня, ни завтра, ни через неделю не случится ничего такого (ну если только болезнь или совсем негаданное несчастье), что может нарушить это плавное течение. Времени должно быть так много, чтобы переезд на дачу или даже приход монтера, отвлекающего уже тем, что в доме чужой человек, воспринимался ужасной катастрофой.

А работать инженером-конструктором? К девяти туда, в шесть закончишь. Домой приехал — дух вон.

Но ведь и в конструкторское бюро не пускают. Смешно. Так, чего доброго, и за тунеядство привлекут. Что ж это вы, Герман Алексеевич? Не желаете трудиться? Клещем впились в загривок трудового народа? Нехорошо...

Немного тешило, конечно, что за правду страдает, а не в случайной драке перепало. Но уже надоело разглядывать раны, совать персты, расковыривать. Обыденность заливала их своим вязким маслом, перевязывала волглой корпией...

Сидели поздним вечером на кухне.

Сипел чайник, изнемогая на маленьком огне, пепельница отсвечивала розовым.

— Чаю еще заварить?

— Спасибо. Хватит. Пароходы будут сниться...

— У домоуправления бумажка висит, — сказала Ки-ра. — Лифтера ищут.

Она собрала чашки, полилась вода. Он поразмышлял, к чему бы это.

— Какого лифтера?

— Не знаешь, что такое лифтер? В подъездах бабушки. Видел?

— Лифтеры — это которые в лифтах ездят. Бабушки в подъездах — консьержки.

— Может, на Диком Западе так. Здесь бабушки называются лифтерами.

— Понял, — хмыкнул Бронников. — И что?

Посуда позвякивала, побрякивала, с металлическим грохотком пополняла сушку. Кира закрыла воду.

— Не знаю, — сказала она, вытирая руки полотенцем. — Что ты так расстраиваешься? В этом поганом Союзе состоять — позор один. Мне и раньше не нравилось, что ты влез.

— Ну да. — Бронников вытряс из пачки папиросу. — Я и раньше знал, что тебе не нравилось. Дальше что?

С одной стороны, так и есть: позорная гэбистская лавка. С другой — туда не *вступают*, туда *принимают*. Всякий хотел бы в нее встрять. В редакциях другое отношение. Но главным образом из-за того, что тогда можно не ходить на службу. Писатель — свободная профессия. Время, время! — вот что дорого.

Время от времени снилось: в непроглядной тьме на ощупь дергает какую-то ручку, и вдруг — бешеный обвал черной рассыпчатой трухи! Это буквы: масса тяжелых свинцовых муравьев. Скрипуче шурша, рушатся, будто песок из самосвала. Надо успеть выхватить нужные — но как не сплеховать, как исполнить назначенное?

Оттого, возможно, и главное чувство, сопровождавшее его в жизни, была бессознательная спешка: не успею, не успею. В сущности, невроз, наверное...

ПРЕДАТЕЛЬ

Кира вздохнула, обняла, прижалась щекой к затылку. Снова села напротив.

— Но ведь необязательно в конструкторском бюро числиться.

— А где же? — поинтересовался Бронников. — Я инженер. Что я еще умею?

— Ничего особенного уметь не надо, — она пожалала плечами. — Вон Артем как ловко устроился. Сутки в больнице, трое дома. Художничай сколько влезет.

— Артем? Ну, знаешь!..

Что Артем? Артему двадцать четыре года, все только начинается, ему хоть в лифтеры, хоть в санитары, хоть с кистенем на большую дорогу. Что ему? — костяв, жилист, молчалив, взгляд угрюмый, челюсть как у того осла, что помогал Самсону побивать филистимлян. Глаза черные, непроглядные. Умница. И сам чернявый. Что он там за глазами этими думает, какие мысли ворочает — непонятно. Говорит немного, слушает пасмурно. Даже Юрец — уж на что краснобай и болтун. А при нем отчего-то сникает. Хотя, казалось бы, что? — ну молчит и молчит, знай картошку с капустой наворачивает. Или просто курит. Молчун, да. Но зато уж если заговорит — все по делу. И складно, заслушаешься. Пацан пацаном, а нахватался — позавидуешь. Бормотнет — и всплывает вдруг: Бердяев, Леонтьев... Бронникова всегда прямо как кипятком обдаст — сейчас же в Ленинку, читать, читать!.. но все ведь спешка, спешка с собственной писаниной, до чужой руки не доходят. На этот счет есть и свое оправдание: коли билет Союза отобрали, в спецхран Ленинки уже не попасть. Правда, с другой стороны, ксероксы вокруг ходят... то Юрец принесет, то еще откуда... да все слепые — пока прочтешь, глаза сломаешь. А вот Артем, ловкач, ухватил где-то без всякого спецхрана. Друг у него есть какой-то. Библиотека сохранилась...